

Джим Крейс

От обладателя премии Уитбред
и Национальной книжной премии критиков

Мелодия

Джим Крейс – писатель невероятных способностей.
Джон Апдайк

Джим Крейс

Мелодия

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Крейс Д.

Мелодия / Д. Крейс — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-100596-2

Даже самая простая мелодия может быть обманчивой. Альфред Бузи – звезда небольшого городка, известный своими песнями и музыкой. Мистер Ал, как его зовут близкие, скорбит о покойной жене в одиночестве на своей большой вилле на берегу моря. Однажды ночью на Бузи кто-то нападает – не голодное животное, а дикий ребенок. Этот случай возрождает старые слухи: возможно, в лесах вокруг города живет древняя раса, как-то связанная с бродягами, заполонившими улицы. Вопрос с ними нужно решить – раз и навсегда. Лиричный и завораживающий, эпичный и обескураживающе личный, «Мелодия» – это роман о скорби и славе, о любви к музыке, которая остается с тобой навсегда.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-100596-2

© Крейс Д., 2018

© Эксмо, 2018

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	14
3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Джим Крейс

Мелодия

Jim Crace

The Melody

Copyright © Jim Crace, 2018

© Крылов Г., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

...но мы уже устали от благочестия галерей и кричащей безвкусицы церквей. Теперь мы идем по Аллее славы, где среди бюстов и бронзовых изваяний малой ценности видим обнаженное тело в натуральную величину, помещенное сюда путем добровольного пожертвования в 1939-м. Гид заверяет нас, что мальчик спускается со своего пьедестала по ночам и бедокурит в городе. Он сам был тому свидетелем – бедокурству и пьедесталу, хотя ребенка и не видел.

Ален Танкред. «Сто городов с характером и обаянием» (исправленное издание, 1952) в переводе автора

Часть первая

Сад Попрошаек

1

Альфред Бузи – мистер Ал – нередко просыпался посреди ночи и слышал какофонию звуков, производимых животными, которые искали еду в его и соседских металлических мусорных бачках или пили воду из открытого водостока, уже использованную воду, в которой обитатели двух домов почистили зубы, постирали белье и помыли посуду. Когда он был женат, рассказывал он мне, такие сомнительные происшествия ничуть его не беспокоили. Ему нужно было только снова прижать нос к теплой материи ночной рубашки жены в его постели, а там хоть пара минотавров приходи к мусорному бачку, его бы это ничуть не взволновало. Он больше тридцати лет был абсолютно счастлив с Алисией, *миссис Ал*, его женой, и сверх этого почти ничего не хотел. Но в безлюбковые тусклые времена, которые наступили с вдовством и возрастом, ему приходилось спать одному, а потому его могли беспокоить мусорные бачки и водостоки, или по меньшей мере они отвлекали его от сна. И тогда он поднимался с кровати, шел на цыпочках босиком выглянуть в высокое окно, которое выходило во двор и отчасти на западную часть города. За два года после смерти Алисии он перевидал – и составил список в ежедневнике на письменном столе – целый бестиарий собак и кошек. Помимо них один раз заявила обезьяна, приходили олени обыкновенные, прилетали пчелиные рои обыкновенные, заглядывали дикая свинья, птица, слишком черная и неотчетливая, чтобы ее можно было назвать с уверенностью, рептилии, голуби, грызуны самых разных видов – не только крысы, хотя крысы сбегались целыми полчищами, – и, естественно, бедняки. Если он бывал расточителен, выбрасывая обрезки и куски, вполне приличные, которые и сам бы мог съесть, то делал это ради бедняков.

В ту майскую ночь, когда Бузи получил порезы и синяки на шее и лице – мы видели фотографии, – погода стояла влажная, бесшабашный ветер был исполнен намерения никому не дать уснуть. Но Бузи, вероятно, так или иначе мало спал. Он выпил чуть больше обычного, три или четыре сладкие порции ликера «Булевар», любимого дамского напитка Алисии, а потому головная боль, воодушевляемая тревогами грядущего дня, была неизбежна. Он согласился нацепить свои медали, надеть костюм и произнести речь. Такая перспектива могла встревожить кого угодно, даже человека, который в свое время пел в лучших театрах и концертных залах, а один раз, много лет назад, неподалеку отсюда, почти для всех жителей города. Его пение передавалось со сцены на уличные громкоговорители; «скромный дар для нуждающихся и безбилетников», сказал он, в надежде, что скромность ниспослана не только ему, но и его дару.

Бузи не пытался обманывать себя, когда дело касалось музыки. Он знал, что его певучий голос в последнее время потерял некоторую долю гулкости и верхов. Возраст ослабил его и ухудшил, как и положено. Но то, что он утратил в диапазоне, он добрал в мастерстве, в умении скрывать большинство своих недостатков, использовать новейшие микрофоны, чтобы усилить звучание и объем, пританцовывать и вибрировать всем телом, сохраняя неподвижную позу, приборматовать, словно любовник или наперсник, а не мощно сотрясать воздух, что у него неплохо получалось в молодости; «маэстро акустики с грудью бочкой», «площадной глашатай песни», человеческий мегафон. Так что даже в возрасте шестидесяти с чем-то лет он ничуть не волновался перед представлением. Кроме того, места, где он продолжал время от времени давать представления своего знаменитого, опробованного репертуара верным поклонникам и

случайным слушателям, которых мог привлечь его голос, были в большинстве случаев малыми залами или барами недалеко от дома, а не просторными залами где-нибудь за границей. Ему было все равно – он даже приветствовал это, – что иногда его теперешний гонорар состоял из одних аплодисментов. У него были кое-какие накопления от самых его успешных лет, и он владел семейным домом. Когда он стал вдовцом, его привязанность к дому стала единственной любовью, которой он мог похвастаться. Тот факт, что он не продавал его, не «доил рынок», как его вынуждали, подталкивали поступить, и в последнее время все чаще, был предметом его скромного удовлетворения.

Предложения от посредников, архитекторов и агентов – ни один из них не имел намерения жить в этой вилле и наслаждаться жизнью, они всего лишь собирались снести ее – доставлялись к его двери в жестких рельефных конвертах, но по большей части оставались непрочитанными. Бузи знал, что с финансовой точки зрения это было недальновидно, но мудро со всех других сторон. Он легко мог убедить себя, что быть преданным месту, в котором живешь, и защищать его не является проявлением собственничества, а всего лишь правовой титул и владение совокупностью стен и потолков. Нет, комнаты не могут быть утешительными компаниями, в особенности если они были увешаны и обставлены твоей женой. Выбор и решение всегда принадлежали ей. Ее тело отпечаталось в подушках и креслах; в ее обществе состарились и посеребрились зеркала; эта завитушка, образованная кольцевыми отметинами на столешнице, образовалась там, где жена тысячу раз ставила свою чашку; к этим старинным хрустальным стаканам прикасались ее губы; это одеяло укрывало ее в тот день, когда она ушла. Смерть не убирает за собой, не подметает, уходя. Все мы оставляем следы не только в виде праха и костей. Ее прах все еще находился дома в урне из латуни и розового дерева, стоял на крышке рояля; она – Алисия – слегка дребезжала с *fortissimo*¹. Ее прах давно следовало развеять в каком-нибудь мирном месте, но ее мужу невыносима была мысль об окончательном расставании с нею.

Их дом (одна из немногих сохранившихся прибрежных вилл в старом конце набережной, за новыми отелями, ресторанами, модными, выстроенными полумесяцем и отделанными мрамором многоквартирными домами с их дорогостоящими шелками вида на океан) был их общей любовью. Из великолепного – величественного – окна второго этажа с его овальным кованым балконом и шелушащейся краской открывалось три контрастных и отчетливых вида, которые добавляли ценность тому, что за последние годы, после Алисии, стало «разваливающейся собственностью». На западе открывался узкий вид на город – прибрежная улица с магазинами, несколько современных фасадов, захудалый аквариум и небесная линия, резко поднимающаяся от бухты, линия, которая главным образом представляла собой нетронутый фриз исторических башен, куполов и шпилей. На востоке с балкона виднелись проблески поросших лесом склонов и противящихся прогрессу остатков леса вдаль, единственная тень среди дня, которая была рядом с нашим городом, чуть ли не дикие места, ограниченные защитной полосой деревьев, втиснутой между зданиями и прибрежными утесами. Это было то, что французы называли бы *garigue*², но мы, родившиеся здесь, знали как *лесок*, путанный, благовонный, солеустойчивый лабиринт облепихи, рожковых деревьев и низкорослых сосен. А что касается фасада? Мощеная площадь для разворота машин и экипажей и аляповатый искусственный сад со скамейками, с которых прохожие могут видеть ослепительное кино моря.

Здесь днем по воскресеньям и в летние вечера наиболее осторожные горожане в отполированных туфлях заканчивали свои прогулки по набережной и направлялись в город по плитам мостовой, а не по опасному для щиколоток галечному берегу; не рисковали они и углубляться в лес по заросшим тропинкам. Те, кто постарше, поднимали взгляд на дом, они, вероятно,

¹ Здесь: при громких звуках инструмента. – Здесь и далее примеч. пер.

² Гарига (гаррига) – низкорослые заросли вечнозеленых кустарников и низких деревьев.

знали, что их мистер Ал всю жизнь прожил здесь. Не он ли собственной персоной стоит у окна с романом в руке? Неужели это он, старый и обнаженный от поясницы и выше, балансирует на стуле, меняя лампочку? Неужели это певец демонстративно завтракает в одиночестве на своем балконе? А потом они, возможно, ловили себя на том, что напевают себе под нос «Вавилон, Вавилон» или «Тонущий моряк говорит о любви». Эти названия все еще приносили Бузи скромные роялти и поддерживали его репутацию – хотя и не героя его песни – на плаву, так что голова торчала над водой.

Да, Бузи был скромно процветающим человеком, процветающим во всем, кроме, давайте скажем это, любви. Пусть у него больше не возникало настоящей потребности спеть перед ужином, но он всю жизнь был предан музыке, а потому надеялся, что будет петь до последнего часа жизни. И он хотел сообщить публике, что на собственных похоронах присоединится к псалмам и литургии. Они будут прижимать уши к крышке гроба, чтобы уловить его несмолкающий голос или услышать пение из маленькой урны с его прахом. Это будет его собственным вознаграждением. И их. Да, мистер Ал будет держать всех в напряжении до самого конца. Никто из тех, кто знал его, не сомневался в этом. Он сам никогда в этом не сомневался. Тем не менее произнесение официальной речи в галстук и даже без рояля у него под боком, что он попытается прорепетировать в полдень, будет тяжелым испытанием. То, что он называл своей «отсутствующей конечностью», будет выставлено на всеобщее обозрение; у него никогда не было дара смешить людей, способности развлекать – только пением. А потому одна мысль о том, что он будет стоять и говорить, а не петь, завязывала его желудок жестко и плотно, словно туфли шнурком. Бузи отчаянно требовалось шесть или семь часов спокойного сна, если он хотел встретить этот день хоть с какой-то долей уверенности.

Но в ночь перед произнесением речи банкет зверья во дворе был необычно шумным. Обычно ночные мародеры начинали с водопоя у дренажного стока, а потом брали то, что могли, самое легкое, обрезки, ошметки и все, что можно схватить и утащить через вентиляционные отверстия и дыры в мусорных бачках. Потом они очень быстро уходили в какое-нибудь другое место, и Бузи оставался в тишине, отдыхал, а то и спал. Но на сей раз ветер помог более крупным иждивенцам, голод придавал им силы и смелости настолько, что они стали переворачивать бачки, вываливая содержимое. Контейнеры были полны и готовы к вывозу отходов, так что там хватало добра, чтобы задержать иждивенцев во дворе и довольно долго не давать уснуть соседям.

Бузи второй раз за эту ночь посмотрел из окна спальни. Тучи заволокли луну и звезды. Единственный свет от фонарных столбов на набережной с фасадной стороны дома был слишком слабым и далеким, чтобы проникнуть во двор. Он повернул ухо к четырем стеклянным панелям. В эти темные часы всегда можно было больше услышать, чем увидеть – не только животных, но и порывы ветра, шорох и потрескивание деревьев, постукивание расхлябанных ворот, а еще дальше – море.

Мародеры у бачков обычно следовали по протоптанным звериным тропинкам через лесок и приходили к каменистому известняковому откосу с задней стороны его виллы. Бузи не поднимался по этому откосу со времен детства, но он до сих пор помнил растянутые связки щиколоток и руки в синяках, едкое жжение мази, которой растирала его мать. Лесок за его домом и к востоку от него был опасным и располагался на крутом склоне, а потому любое существо, спускавшееся во двор и выходившее на открытое пространство, неминуемо сообщало о своем появлении либо ползущей вниз известняковой щебенкой, либо падающим камнем, либо треснувшей веткой, и Бузи мог ожидать в шумные ночи жестяную симфонию мусорных бачков и звуки драк, лая и остерегающего рычания животных.

Были, конечно, и обычные звуки. И движение. Теперь, когда его глаза привыкли к сумраку, Бузи видел неотчетливые очертания своих гостей и сверкающие глаза котов, но больше почти ничего. Когда Алисия была жива, он не раз видел факелы во дворе и тогда пони-

мал, что на трапезу собрались люди, какие-то бродяги, надеясь на подачку богача, нищие из сада Попрошаек, которые пришли во двор, чтобы попинать своими драными ботинками всякую дрянь – может, под ней обнаружится что-то съедобное, или полезное, или ценное, или яркое. Бедняки вели себя тише, чем животные, и воинственнее. Эти люди были одновременно и хищниками, и жертвами и понимали, чем им грозит незаконное проникновение на чужую территорию, если они будут пойманы. Они поднимали крышки и переворачивали бачки с той же осторожностью, с какой служанки распаковывают фарфор. Только раз один из них попытался проникнуть на виллу, но он – а может, она – перетрусил, как только увидел два лица, смотревших сквозь стекло высокого окна. Бузи и Алисию разбудили звуки силой распахнутых ворот во дворе – не тихое проникновение на их территорию, доведенное до совершенства животными, – теперь они увидели испуганного гостя и его отступление, услышали стихающие шаги на улице.

Но сегодня, насколько об этом мог судить Бузи, пришедшие пожить были слишком маленькими, уверенными в себе и шумными – нищие такими не бывают. Он знал, что бесполезно разбивать костяшки пальцев об оконную раму в надежде распугать этих гостей. В лучшем случае несколько влажных и настороженных лиц (если, конечно, у животных есть лица) повернутся в сторону звука и продолжат рыться в отбросах. Но по существу он будет проигнорирован. Он даже не заслуживал того, чтобы показать ему клык. Раздраженный стук стариковской кости по окну был не тем языком, который мог их обеспокоить. Еда была важнее страха.

«Купи себе дробовик», – не раз советовал ему племянник; его племянник Джозеф по линии жены и человек щедрый в том, что касается советов. «Продавай, дядюшка, – говорил он. – Этот дом слишком велик для одного». Или: «Почему бы тебе летом не пускать постояльцев? Если ты, конечно, *не добиваешься* того, чтобы у тебя в доме стоял спертый воздух». Или: «Ты должен найти себе честную горничную». Джозеф понятия не имел, как его дядюшка надеялся доживать свои дни, да и не хотел иметь. Джозефу дробовики нравились, а потому должны были нравиться всем. А Бузи, как он любил говорить друзьям, поклонникам и журналистам, которые посещали его дом, был – по крайней мере, с тех пор когда обнаружил микрофоны – одним из «голубков природы». Алисия часто его так называла – Голубок Шансона, Певец с Крылатым Голосом (оба титула использовались для гастролей и его записей). Она говорила, делая это, на его взгляд, слишком часто, что он не «ор фей», а Орфей; и он, автор изящных песенных текстов, не мог одобрять таких аляповатых словесных вывертов, независимо от того, кто был их автором, пусть даже и обожаемым. Он был Певцом Счастья, как будет сказано в некрологе, который напечатают после его смерти. Низкие ноты Бузи были его «успокоительными средствами» и «афродизиаками». Его репутация – даже его самовосприятие и его тщеславие – покоились на кажущемся спокойствии и самообладании. Его достоинство было доказано его скромностью. Так что Бузи никак не мог быть человеком – как бы его ни потревожили, – который открыл бы окно и выставил оружие в ночь, уже не говоря о том, чтобы обеспокоить соседей выстрелом, а тем более навредить кому-нибудь.

Но у него имелось и более шадящее оружие за дверью его спальни: не совсем чтобы дубинка, но кое-что покрепче, чем обычная прогулочная трость, оружие, которое только раз пролило кровь. Кровь мальчишки, если быть точнее. Он взял его, прежде чем выйти на площадку. Бузи прекрасно знал, что не уснет, если немедленно не предпримет усилия, во-первых, чтобы помочиться, растворить вечернюю выпивку водой из крана в ванной, найти аптечку с болеутоляющими таблетками, дабы прогнать усиливающуюся головную боль, а потом спуститься по лестнице, сдвинуть щеколду и собственной персоной выйти во двор и вернуть бачки в стоячее положение. Ему придется посмотреть, не найдется ли чего-нибудь тяжелого или какой-нибудь веревки, чтобы закрепить на них крышки.

Он убедил себя, что трость только для самообороны, на случай, если на него набросится какая-нибудь собака во дворе. Загнанная в угол собака, в отличие от обезьяны или кота, скорее

покусает невооруженного человека, чем откажется от еды. Но все собаки, даже дикие, которые никогда не знали хозяина и домашнего очага, понимали смысл палки. Откуда им было знать, что в этом дворе и в *эту* ночь человек с палкой может разве что погрозить ею с расстояния?

Бузи не предполагал, что его нынешние и единственные соседи предложат ему какую-либо помощь или хотя бы пальцем шевельнут, независимо от того, насколько громким будет лай во дворе. Их съемная вилла «Кондитерский домик» – прежде дом, принадлежавший семье, не менее знаменитой своей выпечкой, чем Бузи своим пением, пребывала в еще большем разорении, чем дом певца. Обитатели были гораздо моложе его, веселая компания из десяти человек; студенты, думал он, хотя так никогда и не спросил. Они явно были глухи по ночам и слепы днем и почти не демонстрировали желания защищать двор, который с ним разделяли. Пусть их старый сосед прожил в этом доме всю жизнь, как его родители и бабушка с дедушкой, пусть он родился в той самой комнате, в которой теперь спал, – их это не касалось. Он любит свой дом – флаг ему в руки; они были свободны и могли жить своими бесноватыми жизнями. Поэтому подметал и убирал во дворе всегда Бузи, он возвращал горшки с фессандрой³ – посаженной Алисией – на их пьедесталы, выравнивал бачки, смывал из шланга фекалии разной формы, оставленные в качестве благодарности прихлебателями. Как-то утром, после их особенно металлической ночи, ему даже пришлось затаскивать мотоцикл одного из соседей на место его стоянки. Мотоцикл лежал на боку во дворе, и Бузи ошибочно принял его в полутьме за животное, кровоточащую маслом лоснящуюся мертвую тушу с рогами, на концы которых были надеты резинки. Время от времени ему хотелось засунуть под дверь соседей записку с просьбой, чтобы они – хотя бы – не выбрасывали рыбные и мясные объедки, пусть заворачивают их, упаковывают. Нет, в самом деле, ведь это была их обязанность сделать так, чтобы пища, которую они не могут съесть сами, не могла с такой легкостью доставаться из бачков животными или обсиживаться мухами. Но он держал эти печальные соображения при себе. Ему нужно было думать о своей репутации спокойного, почтенного человека, человека слишком уравновешенного, чтобы жаловаться. К тому же он немного нервничал, общаясь с молодежью, потому что у него не было ни дочери, ни сына, да и сестры или брата тоже.

Но была и еще одна причина, почему Бузи хотел вооружиться, пусть хотя бы и более щадящим оружием, причина, которая пренебрегала всяким здравым смыслом. Он никогда не был смел, с самого своего детства в этом доме, когда боялся выходить на площадку в темноте. Семейный дом с наступлением сумерек становился пугающим. Он не был обжитым домом, несмотря на возраст, и производил собственные стуки, которые любого человека с воображением тревожили не меньше, чем мог встревожить любой дикий зверь. Дом был построен в стиле искусств и ремесел, вручную, отчего во всех соединениях и швах имелся незначительный люфт. Даже объемистые расписные обои на стенах были пухлые и отслаивались, они пахли то песком, то солью, в зависимости от сезона и приливов, и были незаменимы в том смысле, что представляли собой в некотором роде часть наследства; но в то же время только они и не допускали крошения стареющей штукатурки. И потому они оставались и помогали поглощать и смягчать бескомпромиссное старение дома. Деревянные рамы и полы виллы, лестницы и перила, инкрустированные тарбони⁴ и липой, веранда и балкон, тяжелые двери – все это ворчал, сопело и волновалось, как корабли, в особенности в тропические ночи вроде этой, когда с моря задувал ветер, и вилла изо всех сил напрягалась всеми стенами. Любой человек наверху, нервный, издерганный, у которого сна ни в одном глазу, мог принять потрескивание дерева за шаги незваного гостя, который ковыряется в чем-то, или шарит вниз, или ступает, даже не утруждая себя осторожностью, по скрипучим доскам. По полу. Ни один счастливый

³ Крейс признавался, что для достоверности изобретал некоторые детали к своим романам; читатель найдет в «Мелодии» несколько таких изобретений, одно из которых – растение фессандра.

⁴ Дерево тарбони – еще одно изобретение Джима Крейса.

ребенок, родившийся в богатой семье, и определенно ни один вдовец в блеклые дни, преследуемый терпкими, тягучими печальми одинокой жизни, не смог бы вернуться после этого ко сну, не вообразив, что его посетили гости человеческой породы с намерением сократить различия между умеренно процветающим и бедняком.

Бузи, держа в руке за бескровный тонкий конец то, что он называл колотушкой, вышел на площадку вооруженным, отдавая себе отчет в том, что выглядит глупо. Что бы подумали эти студенты, увидев его сейчас? Бесшумный, как перо, босиком, с глазами, еще слепленными сном, и ноющими от боли икрами, в одном лишь летнем ночном облачении, чувствуя себя слабым и несуразным, наш прославленный городской певец осторожно продвигался к лестнице. Внутри дома царила неумолимая темнота. Если бы он был слепым, это ничего бы не изменило. Рассвет, если бы рассветы случались так рано в низине, еще не высветил вершины близ виллы, не смягчил ночное небо серым войлоком. На сей раз в доме совершенно отсутствовали тени, таким насыщенным был мрак, и настолько полной была кротость конфузливой луны. Здесь стояли только трескучая темнота и запах чего-то, что он вроде бы узнавал, но пока не мог определить.

Бузи не был человеком суеверным. Он редко думал о том, что существуют призраки, хотя дом и был жутковатым, но жутковатым только в том смысле, в каком жутковаты пещеры или леса; его грызло подозрение, что каждый его шаг, каждая мысль видны и известны какой-то темной наблюдающей жизни там, внутри. Он тогда не считал, что призраки посещают лестницу и что это призраки людей, которые жили здесь в прошлом, – скажем, предки Бузи, или девушка-служанка, к которой не очень хорошо относились, или самоубийцы. Но он всегда думал, что лестница была запятнана – более точное слово «окрашена» – воспоминаниями. В темноте осталась и теперь всегда будет оставаться там его жена, которую он любил и потерял.

Несколько секунд Бузи взвешивал, не включить ли ему свет. Выключатель был совсем рядом. Но он знал, что, включив свет, он вернет тени, а вместе с теньями – все слепящие ясности страха. Кроме того, на свету он будет виден всем и вся внизу. Поэтому он оперся на перила и, хотя сон все еще смыкал ему глаза, изо всех сил стал всматриваться в темноту на лестнице. Он не рискнул бы сделать еще один шаг, не удостоверившись, что дом принадлежит ему одному и ему не нужно бросаться к верхней ступеньке и бить человека или животное, которое пытается проникнуть наверх. Но в конечном счете он начал спускаться, держась за перила.

Если снаружи были какие-то животные, то они должны были услышать, как Бузи открывает защелки тяжелой кухонной двери. Он старался производить как можно больше шума. Давал им время и достаточно оснований, чтобы бежать. Выглянув наконец во двор, ничего живого он там не увидел – прогонять было некого, кроме обычной шайки тощих нахальных котов, и тревогу здесь ничто не вызывало, кроме далеких движений на откосе за домом и в более глубоком, низинном лесу на мысу. Вероятно, всего лишь ветер колыхал заросли. Не более чем естественная история.

Он стоял и ждал возле двери своей кухни. За спиной у него для компании была одна темнота, а в руке – трость для придания смелости, но даже минуту или две спустя за дверью дома все еще ничего не было видно, ничто не ощущалось, кроме запаха и следа тени чего-то, проскользнувшего мимо, внутрь, причем недавно. Он ухватил покрепче трость и шагнул наружу босой ногой на пропитанную росой и дождем плитку, влажную и скользкую, как слизняк. Снаружи света было лишь чуть больше, чем внутри. Пальцами ног он чувствовал мусор на земле, кожуру вареных овощей, мякоть печенья и хлеба, личинок и всякую дрянь. Что он мог сделать в такой темноте, да еще босиком – только отложить все до утра.

Бузи видел лишь очертания бачков для мусора. Он определенно чуял их запах – выброшенные объедки двух домов и одиннадцати душ. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы поставить бачки ровно, на их металлические ножки, найти крышки и надежно захлопнуть их, придавить всякими камнями, валявшимися во дворе. Он уже поднял ногу, чтобы встать на

единственную ступеньку, ведущую в кухню, – иными словами был полон решимости вернуться в дом, – когда услышал звон колокольчиков. Он безошибочно узнавал этот звук, связанный с его женой. Алисия всегда была менее тщеславной, чем ее муж, и не мучилась мыслями о своем весе. Какое имело значение, что она выглядела полноватой, если она чувствовала себя хорошо и была довольна жизнью? Ей не требовалось угождать публике. Не требовалось бегать марафонскую дистанцию. Она не искала себе другого мужчину. А потому, если у нее иногда просыпался аппетит, пусть даже и посреди ночи, то ничто не мешало ей спуститься по деревянным ступеням, чтобы порыскать в кладовке или в морозильной камере в поисках какой-нибудь легкой закуски. И каждый раз, когда она открывала дверь кладовки, несколько изящных персидских колокольчиков, висевших на цепочке посреди двери и над ней, приветствовали ее звоночком, как при входе в ресторан. Бузи сверху слышал веселый и одобрителный звук признания голода и его утоления; потом он слышал, как закрывается кладовка и знал, что вскоре его жена вернется в кровать и от нее будет пахнуть, отдавать тем, что она съела. Когда они познакомились, она была сладкоежкой, а потом стала предпочитать острую еду. Он, бывало, чувствовал вкус сахара на ее губах, в их медовые годы; потом, когда их супружество созрело, он стал чувствовать соль и приправы. Ближе к концу он чувствовал их, когда она еще не успевала открыть дверь спальни.

Теперь он не чувствовал никакого вкуса, а вот звон колокольчиков слышал. На мгновение он забыл, что она мертва, и чуть ли не ожидал увидеть ее у дверей кладовки, где она грызет клинышек сыра, может быть, холодную картошку, тонкий ломтик копченого окорока, маринованный огурчик на кукурузном хлебце. В браке нет ничего нежнее, чем увидеть супругу не в кровати посреди ночи и чтобы ее тело пахло вами обоими.

В тот момент, когда оно покинуло богатство его кладовки и набросилось на него, Бузи не мог точно сказать, что оно такое. Что-то свирепое и опасное, это точно, что-то, вероятно, проскользнувшее в дом, когда он наводил порядок во дворе. Но что это был за вид? Он понятия не имел. А самка или самец? Ну, запах явно был не женский. Запах не мог принадлежать ни одной кровати и ни одной женщине. Не сладкий и не острый. Нет, поначалу он был резким, туалетный, потом стал мягче. Запах не экскрементов. Не пота. Скорее смесь земли, плесени и крахмала. Картофельной кожуры. Кожа существа на ощупь была такой же ровной, такой же влажной, такой же чуть шершавой, как картофельная кожа. И обнаженной. Обнаженной, как кожа картофеля.

Очень скоро, возможно, через секунду, но точно до того, как зубы этого существа вонзились в его руку справа и что-то влажное и теплое – плоть к плоти – начало сдавливать его горло, Бузи знал уже достаточно, чтобы не сомневаться: это существо было ребенком. Детенышем рычащего, злобного существа, одержимого одним желанием: парализовать его, а потом бежать. Атака была решительной и молниеносной. Бузи все еще держал свою трость-колотушку, но не пытался ею воспользоваться, даже в качестве рычага, чтобы оттолкнуть от себя это животное, даже когда его зубы стали вонзаться ему в щеки и губы, а его руки – нет, не руки, когти – стали рвать его шею. Он не стал пользоваться колотушкой, потому что (хотя он сразу же почувствовал расчетливость и силу в этом тощем теле и его первобытную ярость, которая делала ребенка способным убить за корку хлеба) на самом деле не испытывал особого страха и даже ненависти. Одно только мельтешение мотыльков и вихрящийся, рычащий ореол влажного воздуха. Бузи казалось – по крайней мере задним числом, – что он просто стал частью чего-то дикого, древнего и вымирающего. В этом не было ничего личного. Они не были врагами. Да и во всем этом в некотором роде не было ничего человеческого. Ни чувства, ни сознания, ни злости, ни бешенства в хватке или укусе, хотя они и оставляли следы. Ни какой-либо ненасытности. Или безнравственности. Только чувство голода и та разновидность страха, которая бывает у любого животного, если оно собралось поесть, а его спугнуло более крупное существо.

Через мгновение ребенок исчез. Он выскочил в дверь под звон колокольчиков, пробежал через общий двор в такой спешке, что ему было не до бачков, которые он задел, и те, падая, снова ударились друг о друга, а потом понесся через колючий кустарник, через заросли в леске, назад за холм, в глубокий гулкий грот, образованный деревьями.

2

Фотографию Бузи в костюме и бинтах первыми опубликовали «Хроники», а в конце недели – «Личности». Позднее тем летом она пробилась на шутливые страницы «Нью-Йорк таймс», «Бавариан», «Лондон иллюстриейтед ньюс», «Л'Экспресс», «Дайджест ов Валлетта»... А потом? Потом – повсюду. Кто не видел этой фотографии? Она распространялась через агентства и передовицы, как летняя лихорадка, принося небольшие деньги и вызывая либо недовольные сомнения, либо приступы возбуждения каждый раз при своем появлении за рубежом. Официальному фотографу нашего города, снимавшему светские события, хватило чувства и предвидения признать, насколько она странная и красноречивая и, вероятно, вызывает ко всем, кто предпочитает преувеличивать, а потому он заявил, не вполне в рамках правил, авторские права на нее. Для него это изображение превратилось в нечто подобное песням Бузи «Вавилон, Вавилон» или «Тонущий моряк говорит о любви», источнику карманных денег на двадцать или больше лет.

Неподобающее изображение, которое было фарсовым или зловещим в зависимости от доверчивости зрителя в годы, следовавшие за атакой на Бузи, в журналах подвергалось ретушированию и глянцеванию. То, что в газете было нечетким, становилось более резким и очерченным. Лицо Бузи – хотя не всегда его имя, которое часто писалось с ошибками или не включалось в заголовок – снова стало узнаваемым даже молодыми. Если какой-то незнакомый человек здоровался с ним, когда он прогуливался по набережной, это с такой же вероятностью объяснялось как тем, что случилось у двери в кладовку и, конечно, катастрофической неделей после этого, так и тем, что возродилась его слава мистера Ала. Репродукция, которую большинство туристов таскают с собой даже теперь в «Путеводителе Бома и Ганне» – пока они, отправившись из порта в экипажах или таксомоторах, мотаются между набережной и фортом, базиликой и несколькими муниципальными музеями, ботаническими пастбищами и сувенирными галереями в городе, перед тем как отправиться в дальнейшее путешествие на запад в леса, кишасшие дикой жизнью, – представляет собой обкорнанную фотографию с лицом посередине за свежими белыми бинтами недавно обработанных ран. В заголовке стоял вопрос: «Не отсутствующее ли это звено?», вопрос, конечно, относился в большей степени к нападавшему, а не к Бузи. За этим следовало развязное краткое изложение «обезьяньей атаки» на пострадавшего и рассуждения о том, что нападавший являет собой живое свидетельство – для крипто-антропологов по всему миру и всех других, интересующихся всякими диковинками – того, что популяция первобытных антропоидов, возможно, выжила в наших проклятых глубинках вдали от города. «Эти девственные леса теперь стали доступными для посетителей. Экскурсии по дикой природе ежедневно отправляются с проводниками на рассвете и с наступлением сумерек из порта в лесные массивы и поля парка Скудности, названного так не из-за нехватки красоты или искусственной ухоженности, а из-за неплодородной почвы, непригодной для пахоты. Там, под древними пологами, выживают только самые примитивные. Участники могут питать надежду увидеть представителя самых редких видов человека, возможно, последних неандертальцев» – так кончался текст путеводителя, за которым следовали контакты и перечень других видов, которых с большей вероятностью можно было увидеть, сфотографировать, покормить.

Но утром, после произнесения Бузи его речи – ему это удалось, хотя он и нервничал, хотя у него болели голова и его раны, – сам певец не чувствовал ни фарса, ни пагубности. Он разложил «Хроники» на столе перед окном, где свет и увеличительное стекло позволили ему внимательно изучить страницы, он пролистал списки выставленных на продажу объектов недвижимости, судебные сообщения, передовицы и, наконец, нашел фотографию, которую и надеялся увидеть. Он в этот момент не стал тратить время на чтение отчета о его принятии в Аллею славы в саду при здании муниципалитета, не стал искать одобрения или чего-либо

иного, вызванного его речью. Его не волновало, что сочетание его официального костюма, медалей на груди и лацканах и «поля сражения» в виде бинтов – а они были у него на лице, на запястье и торчали из-за воротника – может показаться странным и унижительным.

На фотографии, воспроизведенной без всякого редактирования, певец восседал в мэрском кресле с высокими подлокотниками, резным гербом и ножками, более прочными и лучше обработанными, чем его собственные ноги. По просьбе фотографа Бузи удалось напустить на себя вид бодрый и гордый, насколько это позволяли обстоятельства (и синяки, и мучительные повреждения). Он сумел удержать на лице довольно убедительную улыбку. Кожаный тубус, который он сжимал с такой же силой, с какой сжимал свою трость-колотушку несколько часов назад, содержал выполненное каллиграфическим почерком описание медали «За достоинство», которую он только что получил. Кресло расположили стратегически под недавно открытым мраморным постаментом с недавно отлитой скульптурой, изображающей мистера Ала с запрокинутой назад в песне головой. Темечко живого Бузи с его живыми волосами почти касалось его бронзового подбородка. Нужно сказать, что скульптура была – по крайней мере, в этом единственном случае – больше похожа на оригинал, чем сам оригинал.

Но Бузи искал другое лицо. Вовсе не лицо молодого бизнесмена, который стоял справа от кресла и с избыточной непринужденностью улыбался на камеру, положив одну руку на плечо певцу, но вовсе не для того, чтобы как-то ограничить его. Это был его племянник Джозеф, тот самый, который так настаивал, чтобы дядюшка обзавелся горничной и жильцами. А еще дробовиком. Он этим утром уже дважды повторил свое предложение. Дядюшка одним выстрелом смог бы отпугнуть всех этих беспокоящих тварей от своей двери, сказал он после получения затребованного им объяснения – смущенного – насчет бинтов, и тогда не было бы никаких ран с бинтами, по крайней мере, полученных от человеческого существа.

– Ты должен тщательнее дисциплинировать себя, – сказал он в конце Бузи. – Читай, например, письма, которые получаешь. Оставайся на связи. Попытайся отвечать на них.

Этакое странное непоследовательное замечание.

Бузи не находил у себя в сердце любви или хотя бы привязанности к племяннику. Внимания Бузи к странице приковала мать Джозефа, Катерин, старшая сестра Алисии. На фотографии она стояла чуть сзади, слегка опираясь на постамент и не касаясь сестрино вдовца, разве что своей тенью, которая невесомым саваном ложилась на его плечо. По выражению его лица невозможно было понять, что Бузи – не впервые в жизни, далеко не впервые – в этот момент был одержим желанием, неодолимой страстью поцеловать эту женщину, эту сестру Алисии, прижать свои покусанные губы к ее губам. (Меня тоже иногда одолевало подобное желание... но нет, это его, а не моя история; не моя скульптура выставлена в один ряд с мэрами и генералами.)

Именно Катерин (или Терине, как ее называли в семье) Бузи позвонил посреди ночи, чтобы попросить о помощи. Это было непросто. В физическом смысле. Ребенок-животное впился зубами в его плоть между мизинцем и запястьем правой руки. Набирать номер ему пришлось левой, и это было нелегко и даже унижительно, потому что он чувствовал себя неловким, к его потрясению добавлялась дрожь в руках. Ему пришлось прикладывать умственные усилия, чтобы перенаправлять пальцы, убеждать их действовать по часовой стрелке на его старом и капризном стоечном дисковом телефоне, невзирая на их импульсивное желание крутить диск в другую сторону. Он чуть не со слезами на глазах чувствовал, что его мир сменился на свою зеркальную противоположность. Он чуть не впал в детство, стал неуклюжим, жалким, косноязычным. Но еще он странным образом чувствовал возбуждение не только оттого, что сестра его жены на свой действенный манер примется опекать его, но и от ощущения, что его синяки и раны знаменуют окончание траура. Все подлежало переменам или по меньшей мере послаблению. Теперь его вдовство начнет расцветать. Нет, это было неподходящее слово. Может быть, созреть. Или закаляться.

Она нашла его у дверей кладовки, он пытался навести порядок, разбирал хаос перевернутых контейнеров и разорванных пакетов. Он собрал рассыпанную муку и немного риса в ладонь раненой руки, а потому их объятие получилось неловким – ему пришлось обнимать ее вытянутой рукой, чтобы защитить другую и сохранить расстояние между телами. Она следила за своей одеждой и не хотела, чтобы та испачкалась едой или кровью. Но все же это было утешение почувствовать подобие жены, пусть и на короткое время, в своих объятиях. Он тут же отвернулся, смущенный тем, что у него случилось восстание плоти. Он был бос и в ночной рубашке, и хотя кровь на его лице, горле и руке засохла и потемнела, она все еще оставалась липкой, как сливовый сок, и раны не затянулись.

– Что ты сделал? – спросила она, словно повреждения, полученные им, были его виной, будто он сам нанес их себе ради ее общества и внимания. Она и в самом деле могла так подумывать; он понял, что это первые слова по меньшей мере за три дня, обращенные напрямую к нему. И потом, когда он рассказал, что, по его мнению, произошло у двери кладовки, она спросила:

– Так ты его, значит, вовсе и не видел?

Опять этот тон. Так оно и было. Он вообще не видел ребенка. Ему достались от него только укусы, царапины, запах.

– А в полицию звонил?

Бузи отрицательно покачал головой – то, что случилось, не было преступлением. Она с этим не согласилась, тоже отрицательно покачала головой.

Терина усадила его на кухонный стул и, крепко, как давно, когда он был мальчишкой, это делала его мать, ухватила за подбородок и повернула голову то в одну, то в другую сторону, разглядывая повреждения.

– На мой взгляд, это похоже на кошачью работу. Поверхностные повреждения. На глубину кожи, – сказала она решительно, с ноткой нетерпения в голосе. И из-за этого ее подняли с кровати? Да, неприятно, да, кроваво, но повреждения вовсе не такие серьезные, как он давал ей понять по телефону.

– Животное, – сказал он. – Но при этом ребенок.

Она снова покачала головой.

– Не знаю, – сказала она, и это могло означать как то, что она обескуражена повреждениями его лица, так и то, что она ни на секунду не поверила объяснению. – Ты этому котяре очень не понравился, это я тебе точно могу сказать.

Бузи знал, что со свояченицей лучше не спорить. «Это точно был не кот», – подумал он, но ничего не сказал, а она принялась оттирать засохшую кровь шерстяной материей, намочив ее, потом стала очищать раны той же жгучей целебной мазью, которой пользовалась его мать, когда он выходил из кустарника с царапинами и ссадинами.

– Коты или собаки, – сказала она наконец. – Так или иначе, тебе нужны инъекции.

– Зачем?

– Укусы, слюна, вирус. От столбняка для начала. И, конечно, от бешенства. А теперь вытяни губы. Дай-ка я тебе их почищу. Я могу тебе доверять – ты не укусишь меня своим бешеным зубом?

Бузи подумал, что он бы на ее месте доверять ему не стал.

Терина с семейной тщательностью исполняла роль брюзгливой медсестры, обращаясь с пациентом как с ребенком. Бузи воспользовался предоставившейся ему возможностью, по крайней мере, не стал ей противиться: пока она залечивала раны, он сел прямее на стуле и уперся руками в ее бедра. Ее изящный, крепкий торс придал ему устойчивости. А когда она наклеила на худшие из ран лейкопластыри, он уперся лицом в ее живот и испустил вздох, который выражал скорее томление, чем передавал горечь или боль. От запахов у него перехватывало дыхание, и не только от запаха Терины, который был почти неотличим от запаха его жены,

но и от паров карболового обеззараживающего средства, которое она использовала, и это – по причинам, на которых он не желал останавливаться, – он счел провоцирующим коктейлем своих сексуальных воспоминаний.

Бузи можно было простить его необычную слабость. Эта ночь захватила его в свой поток, выбросила на камни, выбила из колеи. Он не мог заставить себя отпустить ее. Он не мог заставить себя отказаться от безрассудства. Два года прошло с того дня, когда он прикасался к женщине, прижимал к себе. Он был в таком возрасте (и до сих пор остается, говорит он, несмотря на мои пустые протесты), когда большинство его знакомых предпочитают вежливо пожать ему руку, чем обнять при случайной встрече, как это, кажется, происходит у молодых, или поцеловать в щеку, как это принято. Что говорить, в последний раз он обнимал женщину на кремации и панихиде Алисии, и опять же той женщиной была Терина. Ее объятия, ее поцелуи, однако, были не более чем обязательными в такой ситуации и естественными между свояченицей и вдовцом. Все пришедшие на похороны смотрели на нее, оценивали, конечно. А как иначе? Ему казалось, что одета она была так искусно, так хитроумно: в нечто не совсем синее и не совсем черное, смесь скорби, уважения и изящества, что было скромно и одновременно подзрительно. Он до сих пор помнил, как позвякивали ее сережки – как его персидский колокольчик на двери в кладовку, когда при виде катафалка в дальнем конце тополиной аллеи она взяла его под руку, наклонилась к его голове и прошептала что-то утешительное. После этого он с трудом мог сосредоточиться на том, что говорил оратор, и не смотреть на нее, как мальчишка, которому снятся сны наяву. Будь Алисия жива, стой она здесь, она сказала бы: «Терина снова берет первое место. Лучшая кобыла на выставке», но без малейшей ревности или негодования. Обе сестры были довольны быть тем, кем они были, – Телом и Сердцем.

Но Алисия, вероятно, не была бы довольна, если бы увидела эту немую сцену на кухне ее виллы, две чуть покачивающиеся фигуры через несколько часов после нападения неизвестного существа. Бузи уже пора было отпустить ее, Алисия заметила бы, что его рука обхватывала сестру за талию, что его нос уткнулся в ее грудь. Это всего лишь нежность, говорил он себе. Но Терина яснее представляла себе, что происходит. Это было своеобразное приятное подтверждение того, что, несмотря на возраст, – они с Бузи были почти ровесниками, чуть не день в день, – у некоторых мужчин она еще вызывает желание. Она обнаружила, что в основном это женатые мужчины. По правде говоря, она изо всех сил старалась быть привлекательной – не только хорошо одевалась, но и принимала меры, чтобы не выглядеть старой, выдерживала нечто среднее между жеребьячьей худобой, непривлекательной в женщине за шестьдесят, и женской полнотой, той полнотой, в которой была виновата Алисия и которую она, старшая сестра, считала уступкой возрасту. Помогали, конечно, и духи. И косметика. Но самыми большими ее помощниками были жакеты, платья и туфли. Мода была ее латами, защищавшими ее от внешнего мира.

Терина не позволяла себе появляться на публике, прежде чем ей удавалось найти что-то, в чем она смогла бы хорошо выглядеть, лстящее ей и дорогостоящее. Даже в ночное время, когда ее вытащил из постели лихорадочный звонок Бузи, молившего о помощи, она нашла время одеться должным образом до прибытия такси. Ее не устраивали ни полотняные слаксы, ни домашняя одежда, ни уличная, выбранная по принципу удобства, ни повседневная, рабочая. Нет, юбка, на которой лежала рука Бузи, блузка, на которой покоилась его голова, даже пояс, за который он засунул большой палец, – все это было частью тщательно подобранного ансамбля, которыйставлял в максимально благоприятном свете ее фигуру, цвет кожи, рост. Она была – ах, как она хотела, чтобы это было иначе! – невысока ростом.

– Я думаю, мы должны обратить внимание на твою руку, – сказала она Бузи, отойдя от него.

Терина провела рукой по своей одежде спереди, чтобы разгладить ее, но и подать себя в лучшем виде, позволить ему оценить выбор, который она сделала, после его звонка: подобрала

серые и пастельные тона, текстуру тканей. Покрой и движения юбки чуть подчеркивали очертания ее фигуры под одеждой. Материал и ткани оставались мощным средством воздействия, даже когда старела кожа. Мужчины лишь делали вид, что их не волнует, как одеваются женщины, но на самом деле, как она обнаружила, некоторые вещи их еще волновали. И тем не менее в ее намерения не входило сексуально возбуждать ни зятя, ни какого другого мужчину, если уж на то пошло. Очаровать – да, но не более. В ее время телесное соревнование не было приоритетом, когда она выходила из дома. Она главным образом искала изящества, надеялась привлекать и взгляды женщин, хотела, чтобы женщины поворачивали ей вслед головы, замечали и одобряли ее манеру одеваться. Любовно выбранная одежда позволяла ей оставаться молодой – так думала она. И все же ей кружило голову, когда ее изучали с таким желанием, как Бузи, даже если восторженным поклонником был этот ее несносный зять, которого она хороша знала. Ей не нужно было смотреть на его пах, чтобы понять, какое влияние ее демонстрация оказала на него. Она видела это по его лицу, слышала в тишине комнаты. Она чувствовала его взгляд на своей спине, когда повернулась, чтобы взять дезинфицирующее средство, мазь, бинты из кухонного ящика. Она ни за что в жизни не разденется для него, но ведь она могла насладиться воображением, представляя, как он ее раздевает, правда? В ее возрасте куда как благодарнее было оставаться одетой и желанной, чем позволить овладеть собой.

Бузи переполняло и тревожило не столько желание обладать ею, сколько размышления, всего лишь размышления об упущенных возможностях, отдаленных и тающих возможностях, о том, что могло произойти когда-то, а не более волнующем и героическом том, что могло случиться сейчас или в будущем. В последние годы, еще до смерти Алисии, Бузи заметил, что его вождения медленно теряют остроту. Ну и бог с ним, думал он иногда, потому что в его годы, вероятно, ждать с нетерпением чего бы то ни было расточительно, бесполезно и саморазрушительно. Ждать чего бы то ни было означало без толку тратить жизнь в надежде на конец зимы, потому что стремиться к весне значит подгонять и без того малое оставшееся тебе время. Даже его сексуальная жизнь стала сплошным оглядыванием назад. Да что говорить: в особенности его сексуальная жизнь. Неужели это возраст, спрашивал он себя? Или просто ностальгия, сентиментальная тоска по тому, что потеряно? Или это его вдовство? Он наверняка мог представить, как занимается сексом со свояченицей в прошлом, но он откровенно не мог припомнить, чтобы они целовались там и тогда. Была черта – и не одна, – за которую он никогда не мог зайти, как хотелось ему думать. Он не был такого рода вдовцом. Не был такого рода дураком. В песнях, конечно, он пересекал эту черту тысячу раз. Он пел о любовницах и о страсти: «Тсс, тсс, не торопись, вот тебе мой час» и «Стой, стой; стой, прощай». Его песни говорили о страсти, вождении, желании – он все пускал в ход. Но его непубличная жизнь была скучной. «Благонамеренной», наверное, более мягкое слово. Бузи в целом не был одержимым человеком, он был человеком увлекающимся, иными словами, его преданности коренились глубоко. Изменить им было бы против его природы, а может быть, и против Природы вообще. И все же он улыбался и одобрительно кивал, глядя, как Терина разглаживает на себе одежду на свой трогательный манер, и при этом он все же чувствовал брожение крови. Он мог позволить себе фантазии: как он, помоложе, лежит в ее более молодых объятиях.

Мягкая часть правой руки Бузи – ведущей руки пианиста – получила более глубокое ранение, чем его лицо, где царапины и укусы были поверхностными. Кожа на руке была разорвана и расцарапана чуть не до кости. Были все еще видны и отметины, оставленные плоскими зубами, и форма раны в виде раскрытой пасти, но очистить ее и забинтовать не составляло труда. Терина подтащила второй стул и поставила лицом к нему, но чуть сбоку, положив себе на юбку полотенце. Он уперся ладонью в ее колено, как она и сказала ему, позволил ей очистить рану и нанести мазь.

– Типичный кот! – сказала она. – Кот с хорошими зубами, судя по виду раны.

Он все еще размышлял, каковы были шансы – нет, какими могли быть шансы много лет назад, если бы только он мог повернуть время вспять, – на то, чтобы свояченица ублажила его другим способом. Она сделала это – или что-то похожее – один раз в его примерной после концерта, но то было много десятилетий назад, когда они были молоды и не обременены заботами. И до того, как Терина представила его своей «не настолько уж маленькой сестренке».

– Ты отремонтирован, – сказала она, делая шаг назад, чтобы восхититься своей работой.

Только рана на его верхней губе (его певчей губе, той, которую он так незабываемо выгибал, когда смирял и держал ноту) все еще была видна с первого взгляда. Губы трудно обрабатывать и бинтовать. Терина только почистила ранку, но губа теперь распухла и казалась ободранной. Чертова ранка почернела, что было особенно заметно на фоне «стеганого одеялка» хирургических пластырей, которые чуть ли не комически пестрели на его лице.

– Я выгляжу идиотом. И завтра буду выглядеть идиотом, – сказал он.

Через шесть или семь часов ему придется предстать перед честной компанией в выходном костюме и произносить речь.

– Ты похож на героя битвы, военного, как и все другие на постаментах.

Они рассмеялись над этими словами: генерал Ал. Генералиссимус.

– Мы с Джозефом, конечно, тоже придем. Гарантируем вежливые аплодисменты. Ну, могу я еще что-то, что-нибудь для тебя сделать... прежде чем уйду?

«Ну, могу я еще что-то, что-нибудь?...» – он уже слышал эту фразу прежде. Неловкая фраза, всегда думалось ему. Дразнилка. Что это было сейчас – рассчитанная провокация, завуалированное приглашение? Бузи сомневался, вот только он всегда подозревал, что все слова и поступки Терины – провокация, рассчитанная или нет. Она не говорила, не садилась и не вставала, не выходила из комнаты, не входила, не присоединялась к группе, не покидала ее без явного желания взбудоражить присутствующих. Так было ли еще что-нибудь, хоть что-то? Что могла она иметь в виду? На что надеялась? Эта женщина была загадкой.

Терина вздернула бровь, явно ошеломленная и удивленная его молчанием.

– Ответь, – сказала она.

Он поднял голову, посмотрел на нее, но помедлил еще секунду. Что она может подумать и сказать, если он предложит ей остаться на ночь, или на то, что осталось от ночи, «просто для компании»? Если только для компании. Он может приготовить кровать в соседней комнате или предложить ей собственную, хотя она вся переворожена, скомкана, а он мог бы лечь на диван для чтения. Она могла бы остаться хотя бы до завтрака, даже если ни один из них не будет пытаться уснуть. Они могут посидеть у балконного окна, посмотреть, как занимается заря, как врзается своим плугом в море. Вид становился лучше и сильнее задевал за живое, если им наслаждаться в компании. Она могла бы даже снова держать его за руку. Это, конечно, было возможно, хотя у него разыгрывалась похоть в таких ситуациях, чреватых чем-то более женственным и более нежным, чем-то мило невинным, чем-то более дружелюбным. Но больше всего ему, конечно, хотелось не встречать очередной рассвет в одиночестве.

– Ты помнишь? – сказал он, удивляя себя самого. – Ты помнишь в тот раз, вечером, когда я пел «Колючую розу», а ты поднялась в мою примерную?

– Нет, не помню.

Она сразу же припомнила то, о чем он говорил.

– Не помнишь? – Он пропел последние строки: – Добьюсь я поцелуя, / Не угрозой, / Я заманю тебя / Колючей розой. / Она всегда со мной, / Когда не спится, / В такие вечера / В моей петлице. – Ему всегда нравилось то, что ему удавалось и в жизни соответствовать словам «добьюсь» и «заманю». Другие авторы не позволяли себе такой откровенности. – Ну, эта песня тебе ничего не навевает?

– Есть какие-то причины, по которым я должна ее помнить?

– Освежить тебе память? Нет, пожалуй, не стоит.

Они оба улыбнулись, но про себя, не глядя друг на друга, не идя на большие риски. Опасность и страсть остались в прошлом. Бузи не мог читать ее мысли, но для себя он понял, что старость не так уж и плоха, если он хотя бы может думать, как молодой. Еще он понял – и вовсе не к сожалению, – что ничего предосудительного, ничего неправильного, ничего, скажем, бестактного и физического не может и не должно произойти в этом доме, любимом доме его жены. Ему придется искать удачу где-то в другом месте, найти маленькое пристанище, номер в отеле, если он и в самом деле снова хочет любви, если он и вправду хочет освободиться от любви. Он все еще улыбался, когда приехало такси, чтобы увезти его искушение – на юбке которого появилось маленькое пятнышко крови Бузи – в отступающую темноту города, ставя точку в этой самой необычной из ночей.

К тому времени, когда первые блики восхода разгрузили небо над склоном за виллой и стих ветер, освободив место дню его введения на Аллею славы, Бузи уже принял душ и оделся, хотя еще и не в торжественный костюм, который пока – вместе с планками медалей – лежал на кровати, выглаженный и безжизненный, как манекен. Он не пытался уснуть после ухода Терины. Какого отдыха мог он ожидать? Вместо этого он, несмотря на ранний час, сел за рояль в репетиционной и в полутьме попытался проделать несколько простых упражнений. Главным образом его интересовало, насколько тверда его рука, насколько сильно повреждена и выведена из строя правая, но ему хотелось также и отобрать у ночи с помощью звука комнаты и лестницы, и не важно, как неловко будут при этом вести себя его руки. Вилла казалась более зловещей, чем когда-либо раньше.

Рука болела гораздо меньше, чем Бузи опасался или даже хотел, Впрочем, она все еще оставалась негибкой и давала о себе знать. Плавность движений отчасти была утрачена, пальцы растягивались до предела медленно и неохотно, аккорды давались нелегко, цеплялись за свежие бинты. Он подумал, что было бы хорошо растягивать руку и пальцы, прежде чем раневая ткань затянется и затвердеет, но, с другой стороны, может, он нанесет руке больший ущерб, не давая ране зажить. И все же он хотел быть искалеченным. Он хотел чего-нибудь длительного, чего-то физического, что он мог бы показывать на протяжении недель как знак и доказательство того, что случилось этой ночью. Насмешливая реакция Терины расстроила и раздражала его. Как же – коты. Кот на ощупь все равно что коврик, плотно сплетенный, ворсистый. Он знал, что человеческая кожа изменчива, она не всегда чистая, чувственная или глянцевая, как лоснящаяся материя, не всегда чуть теплая, как кожа Терины, а иногда – липкая, холодная, шершавая, как картофельная кожура. Но она никогда не бывает покрыта шерстью. Он знал разницу. Его раны могли быть свидетельством того, что это не была атака кота. Он выгнул правую руку, чтобы вызвать боль и убедить себя в том, что повреждения серьезны, в особенности для человека, который играет на рояле для города, а теперь, вполне вероятно – хотя жалел об этом только он, – больше не сможет играть так же технично, как прежде.

После нескольких тактов Бузи театральным жестом положил правую руку на поднятую крышку клавиатуры и принялся играть только левой более глубокие и меланхоличные ноты. Доски и балки виллы дрожали при ударах по клавишам, поглощая и усиливая их. Низкие тона распространяются лучше всего и быстрее всего, по крайней мере, в деревянном доме, хотя на открытом воздухе лучше всего разлетаются высокие. Когда Бузи, будучи моложе, репетировал ранними утрами, сопровождая пение аккомпанементом, Алисия, которая в это время еще крепко спала, нередко говорила, что ее будили бас и баритон, а не высокие частоты и сопрановые звуки мелодии. Бузи мог представить ее в постели в такой момент, как она воспринимает эти ноты, и ее ничуть не тревожит отсутствие более высоких нот правой руки. Иногда в лучшие свои дни она ему подпевала, до него издали доносился ее контральто, хотя она и не могла похвастаться лучшим из голосов. Она всегда пела, пела песни, которые запоминала по кинофильмам или дневным исполнениям в кафе. Песни, которые не могли понравиться Бузи, но подслушивать их он любил.

Он закрыл глаза и поиграл еще немного вслепую. Теперь все было, как оно и должно быть. Он добавил веса и громкости нотам. Он проталкивал их вверх по лестнице, через площадку и в спальню, на подушки под ее головой, к ее образу: первому – дышащему, просыпающемуся под ноты, и второму – мертвому, глухому и недоступному. Как бы ему хотелось все еще быть в состоянии выклянчить у нее поцелуй, добиться любви.

Теперь – чуть ли не со слезами во второй раз за этот день – он оставил Алисию в бесконечном покое и аппетитно вытолкнул музыку в коридор, ведущий в кухню, и к двери в кладовку. Мог ли он левой рукой пробудить крохотные персидские колокольчики и вызвать ответный звон, хотя ему и не хотелось думать о том, чей это мог быть ответ? Он после нападения, конечно, закрыл на щеколду дверь, выходящую во двор, но не исключал вероятности того, что в доме есть какое-то животное, теперь загнанное в угол, ошеломленное и опасное. Он спрашивал себя, как этот ребенок-животное, никогда не слышавший инструментальную музыку прежде, воспримет ее мрачность, гулкие и громкие звуки, которые выходили сейчас из-под его пальцев? Ему пришлось открыть глаза и проморгаться от этой мысли. Что могло бы случиться, скажем, тремя годами ранее, когда Алисия все еще чувствовала себя неплохо, когда к ней вернулся аппетит, если бы она спустилась посреди ночи, невооруженная, босая, беззвучно ступая, с глазами, еще не разлепленными от сна, чтобы найти, чем бы перекусить, и тут обнаружила бы, как Бузи всего несколько часов назад, это существо у дверей кладовки? Тварь. Животное. Кота без шерсти. Ребенка. Туземца. Бузи услышал бы с их кровати высокие металлические нотки Персии, музыку правой руки на цепочке колокольчиков, уличную дверь ресторана, и счел бы это абсолютно нормальным: еще одна брачная ночь в любви, и вскоре его жена вернулась бы к нему, пахнущая своей едой. Или иначе – ночной кошмар, а не сон – она возвращается поцеловать его с разорванной и окровавленной губой. Или ему приходится самому спешить вниз, где он обнаруживает, что так долго задерживало ее у дверей кладовки: она лежит на полу, на ее шее зияет рана, кожа холодна, как плитка пола.

Бузи в голову пришла идея новой песни, которая вернула его к роялю низкими нотами, наигранными им прежде, и высокими нотами, которые он надеялся услышать в ответ. «Персидские колокольчики», раненый дзинькающий плач о... да, трудно было понять, кто из двух будет объектом его жалости. Жена или ребенок? Может быть, оба. Он вернул поврежденную правую руку на клавиатуру, давая отдохнуть левой, нашел последовательности, которые более всего напоминали колокольчики. Он искал фразу, которая может подсказать мелодию, если он начнет над ней работать. Найдет ли он энергию, чтобы работать над этим? Он не писал ничего достойного уже целый год и больше, так зачем начинать теперь? Он осознавал, что в недавнем прошлом каждый раз, когда он объявлял на концерте, что следующая песня – новая, в зале слышалось скорее сожаление, чем возбужденное ожидание. Публика приходила на встречу с известной ей музыкой. Репертуар Бузи напоминал его нынешнюю сексуальную жизнь: ретроспективный, пожилой. Они будут лучше слушать дурацкие игривые припевки «Любовь подобна мотоциклу, / Обоим нужны два колеса», или смеяться под «Мы завтра там были», или присоединяться к хору «Сделай или умри», а потом уже будут готовы снести последнюю скорбную песню «Персидские колокольчики».

Несмотря на боль в руке, Бузи некоторое время еще искал последнюю фразу на клавишах, подумал, что она многообещающая, хотя, что получится – то ли песня любви к жене, то ли что-то более широкое и более дикое (спальня или дверь в кладовку), – он пока не мог сказать. Возможно, ответ дадут стихи, но они придут только с пением, а Бузи пока не мог ни петь, ни тренировать голос. Верхняя его губа для этого слишком болела. Сейчас она слишком болела даже для разговора. Слишком болела, может, для произнесения этой чертовой речи всего через несколько часов. И уж чтобы жевать – точно. Слишком болела, чтобы целоваться? Безусловное да. Он снова потрянул головой, чтобы прогнать воспоминание о свояченице и ее

недавних заботах о нем. Оно возвращалось и возвращалось, хотя он теперь был одет, и рассвет отрезвил его, рассвет, худший за много недель.

Что, если бы Терина ответила на его чуть ли не громогласные домогательства и провела с ним время до рассвета, чтобы не оставлять его одного? Не было бы никаких поцелуев, никаких клевков. Да и нежности никакой тоже не было бы. Он слишком давно знал свою свояченицу, чтобы предположить, что между ними возможно что-то глубокое, кроме пропасти, но они встречались, и между ними всегда возникало трение, эхо тех мгновений в гримерной на концерте, когда, после того, что было кратчайшей из связей, она – только игриво, сказала бы она, чтобы потом хвастаться, что она была со знаменитым певцом, мистером Алом, и получила кое-что побольше, чем его автограф, – расстегнула его пояс, засунула под него свою узкую ручку с длинными ногтями и непростительными колечками, засунула в глубь его трусов. Ничто в его жизни, в его сокровенной жизни, то есть до и после, не потрясло его с такой силой. Или не испугало его. Какие бы песни он ни пел, он был неопытен в делах соблазнения. Даже тогда ее знаки внимания были клиническими и больничными, без обязательств, нетребовательными и удивленными. Впоследствии, озадаченный ее холодностью, отсутствием щедрости, он небрежно – но не беззаботно – пригласил ее прогуляться на следующий вечер по набережной, а потом выпить аперитив в одном из полуподпольных баров, теперь уже давно уничтоженных, где моряки и солдаты ожидали своей очереди. Он чувствовал: это тот минимум, который он может сделать, чтобы отблагодарить ее. Он был в долгу перед ней. Но она отклонила его предложение, как он того и хотел.

– Ну, могу я еще что-то, что-нибудь?... – спросила она в тот вечер «Колючей розы», стоя у полуоткрытой двери гримерной и оглаживая на себе одежду.

Он так никогда и не расшифровал, что она имела в виду этой неоконченной фразой – ни тогда, ни теперь.

– Нет, ничего, – ответил он тогда, ответил слишком поспешно. Она смутила его. И он фактически (хотя она никогда не признавалась в этом даже самой себе) оскорбил ее.

Уход от него Терины в тот вечер в концертном зале, с точки зрения Бузи, был не менее неожиданным и пугающим, чем ее дерзость. Он всегда думал, что она действовала по плану. В те времена она была красавицей и, возможно, приходила в восторг, видя то желание, которое может пробуждать в мужчинах. От одного ее взгляда они могли лишиться чувств. Она могла как провоцировать, так и укрощать их, всего лишь сложив руки на груди, или закинув ногу на ногу, или (ее привычка, которую Бузи хорошо запомнил) коснувшись кончиком языка впадинки на верхней губе. Каждое ее движение завораживало мужчин. Счастливчиков она удивляла своими услужливыми руками, думал Бузи. Он сомневался, что был единственным, кто столько претерпел от этого.

И в то же время она была безумно целомудренна. У нее были свои представления о поведении с мужчинами и ее манипуляциях, ни одна из которых не нарушала ее одежды, не размазывала помады или румян. Ни одна из них – и это самое важное – не требовала использования контрацептивов и не была чревата для нее никакими опасностями. Если Терина была женщиной, которая «кормилась» мужскими слабостями, как без всякого неодобрения говорила Алисия, то ее старшая сестра не имела свойственного женщинам желания настоящей близости с мужчинами. Ее неожиданный брак – с Пенсиллоном, предпринимателем, торговавшим лесом, старше ее на двадцать лет, чье здоровье стремительно ухудшалось, – поразил всех. Это случилось в лето ее короткой интрижки с Бузи в его гримерной; но брак продолжался недолго – чуть больше года, по истечении какового срока инфаркт поставил на браке и на Пенсиллоне жирную точку. Ходили слухи, подтвержденные двумя горничными, которые работали в доме, что брак так никогда и не был консуммирован. Они сообщали приснопамятное: у пары даже общей спальни не было или кровати, не говоря уже о ласках или нежностях. «Лес» предпринимателя больше не стоял, когда дело касалось любви, – так они говорили. Мистер и мадам

Пенсиллон клали свое грязное белье – полотенца, одежду и простыни – в разные корзинки, при этом требовали, чтобы белье не находилось вместе даже в тазу для стирки.

Но если эти двое никогда не «делили ложе», то это, как гласила уличная мудрость, означало только одно: Джозеф, сын Терины, появился на свет божий благодаря трудам не больного предпринимателя, а кого-то другого. Но Алисия неизменно утверждала, что это не так, муж ее сестры, безусловно, был родителем мальчика, у которого с самого детства чувствовалась предпринимательская жилка, говорила она, а как это получилось, никого не касается. Невзирая на разные корзинки для белья, Джозеф, как и лесоторговец, был высок, имел крепкое сложение, говорил с теми же интонациями, хотя его отец и умер до рождения сына.

Тем не менее было немало мужчин, которые, убедившись, что их матери и жены не слышат их, любили намекать, что они и есть отцы Джозефа... только, пожалуйста, между нами; они не рассказывали – ха-ха – о подробностях того, что случилось в той кровати, или машине, или номере отеля. Другие задумывались об этом надолго и всерьез, они думали о радостях пребывания в одной постели с Катерин Пенсиллон, думали о восторге обладания ею, воображали, как собственным языком касаются этой соблазнительной впадинки на верхней губе. И неизбежно находились такие, кто связывал имена Альфреда и Терины любовными узами, они никогда не сомневались в том, кто отец ребенка. Они слышали, что по меньшей мере в одном случае певец с «крылатым голосом», «голубок шансона», использовал седативное средство и афродизиаки его обезоруживающих песен, чтобы иметь интимные отношения с целомудренной и прекрасной Катерин в его гримерной. Но если был один раз, то почему не десяток, спрашивали они себя, почему этого не происходило постоянно за спиной лесоторговца?

Бузи познакомился с Алисией в то время, когда слухи эти ходили особенно активно, но она, если и слышала их, с ним на эту тему не говорила. Она знала, что ребенок, Джозеф, конечно, высокий, требующий к себе внимания мальчик, который рано начал ходить и говорить, с густыми темными волосами и страстью к собирательству – монет, марок, бабочек. Они были близки. Время от времени, может быть, пока сестры ели, дядю Альфреда и его племянника можно было увидеть вместе на прогулке в городе или в Такс-музее, как его называли (Институт таксономии и таксидермии). Дядя Альфред помогал как мог. Но никто не мог всерьез подумать, что Бузи с его аккуратно уложенными волосами отец мальчика. Он ведь почти не прикоснулся к Терине, это она прикасалась к нему.

Знала ли Алисия об этом его единственном, на одну скорую руку контакте с ее сестрой? Бузи сомневался. Он сразу же решил, что умнее всего не говорить ей. Подробности не льстили ему. Но впоследствии, когда их брак укрепился, он счел, что его скрытность – это ошибка, которую исправлять теперь поздно. Конечно, с Териной всегда оставалась потенциальная опасность: если между сестрами вспыхнет ссора, между стройной и пышной, то старшая может бросить гранату – рассказать о том, как ее домогались, когда она была молодой невинной женщиной, доверчивой поклонницей, и домогался не кто иной, как муж Алисии, этот волокита, ее не такой уж безупречный мистер Ал. Признание в этой короткой встрече жене много лет назад купировало бы, конечно, эту опасность, устранило бы его тревогу. Но Бузи был человеком осторожным. Расчетливым, он бы сказал. Осмотрительным. Как же он мог признаться: «Твоя старшая поиграла со мной разок. Я до сих пор краснею, вспоминая об этом (в то же время я все время об этом думаю)»?

И теперь с первым лучом солнца нового дня, упавшим на крышку рояля, Бузи опять попытался сосредоточиться на упражнениях, посмотреть, сможет ли он перевести мелодию «Персидских колокольчиков» в более трогательную последовательность нот и тонов. Такое напряжение было ему не по силам. Его сосредоточенность рассеивалась – ее рассеивали ребенок, а также прошлое, – и практически бессонная ночь вымотала его.

Еще раз поднялся он по лестнице на площадку, где этой ночью неуверенно стоял в ослепительной темноте. Теперь тени, которые пугали его своей глубиной, своими контурами и фор-

мами, тянулись по лестничному пролету и по площадке, длинные и низкие. Ночи его не пугали. Солнечный свет тоже. Но вот эти утра, скупо освещенные начинающимся днем, были для него совершенно невыносимы. Не совсем утро. Не совсем вечер. Но этот серый и уступчивый час в промежутке, когда только погода должна производить звуки и только смертные грехи обитают на улицах.

И опять он взял свою трость-колотушку и всматривался в углы комнаты, заглядывал под столы и стулья. Он должен был проверить все места, убедиться, что вилла принадлежит только ему, что в здании никого другого нет, что он здесь один. Бузи готов был расправить плечи и бить по всему, что попытается на него напасть.

Дом был пустее пустого. И насколько он мог судить, глядя из маленького окошка в ванной первого этажа, двор внизу был тоже пуст. Он был бы не прочь глянуть – спокойно, ободряюще, бескровно взглянуть на ребенка, но не увидел даже ни одного кота, слизывающего влагу с плиток двора, ни одной птицы, ни одного грызуна, пьющего из дренажного стока или ворующего из мусорного бачка. Он прижал ухо к стеклу и услышал лесок, раздраженный стон деревьев, распевки шаманских жаб, но больше ничего.

Спальня была последней комнатой, которую он проверил на присутствие животных или обнаженного ребенка. Он, завершив свои упражнения на рояле, все еще не мог войти в комнату в это время дня, не представив, что Алисия сидит среди подушек, а он несет ей кружку кофе, теплые бриоши и абрикос или виноградную гроздь. «Я точно знаю, как возбудить и удовлетворить женщину в постели, – любил говорить он. – Завтрак на подносе». В это утро он ничего не мог с собой поделат – мысли его имели противоположное направление: на самом-то деле, несмотря на возраст, он никогда не знал, как удовлетворить женщину сексуально. Вероятно, даже Алисию. Неужели для него слишком поздно играть на этой сцене? С кем-то другим – не Алисией? Он вспомнил одного своего знакомого музыканта, трубача, который в позднем возрасте, когда дыхание стало подводить его, попытался перейти на игру на аккордеоне. «Это был адюльтер, – сказал его знакомый. – Я так никогда и не освоил его. Слишком поздно. Слишком старый».

Последнее место, которое предстояло проверить Бузи, чтобы окончательно успокоиться, было под кроватью. Он не стал опускаться на колени – суставы у него не работали, и на ногах он нетвердо держался; спаси Господь его суставы – он поколотил своей тростью в темноте, укрытой лоскутным одеялом, только на миг испуганно подумав, что оттуда может появиться пара рук, ухватить его за щиколотки, и еще на более короткий миг пожелав и найти там прячущегося ребенка, которого он смог бы приручить, накормить, цивилизовать, даже усыновить, любовно воспитать. Если мужчины и женщины могут сходить с ума по коту, несмотря на его неприручаемые когти, или обожать собаку, несмотря на ее жестокие клыки, то почему не ребенка, даже если этот ребенок одичал? Нашел он там только чемоданы, коробки с нотами и липкое скопление паутины. Он покачал головой, осуждая собственную глупость и собственное одиночество. Чем скорее он выйдет из дома на улицу, тем лучше. Пусть начнется день.

Его лучший дневной костюм благородной синевы сидел на нем чуть свободнее, чем обычно. Он мог легко засунуть руку под пояс брюк, а сзади они были мешковатые. Ему пришлось потуже затянуть пояс, так что пуговицы оказались сбоку. Его шея, подумал он, торчала из воротника, как цыплячья, в особенности после того, как он завязал узел галстука, и плечи его ощущали необычный простор в пиджаке. Но теперь, полностью одетый, он чувствовал себя более сильным духом. Ему оставалось только сунуть в карман пиджака свой ископаемый талисман на удачу и надеть медали, подходящие случаю, его ряд полированного тщеславия. Медалей у него был целый ящик. Таковой была застоялая привычка города уже на протяжении нескольких сотен лет – раздавать эти украшения (то есть раздавать мужчинам) за какие-либо достижения, не важно, если они незначительные или низкие: за, скажем, завершение строи-

тельства здания, или за длившуюся всю жизнь работу в ресторане, или на золотой юбилей свадьбы. Носить их означало вывесить на своей груди сверкающую краткую биографию.

Избранная биография Бузи в то утро его речи заявляла о нем как о члене Троянской публичной лиги, на протяжении сорока лет благотворителе «Граждан», а также почетном докторе Музыкальной школы, победителе Афинского фестиваля песни в своей категории и «полномочном представителе в области искусств на всех торжественных представлениях и симпозиумах мира». Он прицепил пять наград к своему лацкану и повернулся к зеркалу в полный человеческий рост, находившемуся в спальне, – такими вещами редко пользуются в нынешние времена. Нет, что бы он ни надел, что бы ни сделал, ему не скрыть наклейки и бинтов, не спрятать распухшую, кровавую соплю шрама на губе. Вообще-то он ничего не имел против. Это были его видимые глазу извинения за плохую речь или за неважный подбор благодарственных слов. Люди начнут волноваться за него, будут спрашивать подробности. Он скажет, что коты тут ни при чем, проливая свет на случившееся с ним. Как ни при чем и другие животные. На него напал голодный ребенок. Нет, даже точнее, на него напал мальчик. Он знал достаточно о своем городе и его исконном похабстве, а потому сразу же хотел исключить всякую вероятность того, что его поцарапала и покусала девочка, свирепая и абсолютно голая девочка. О да, о да, мы слышали это и раньше, скажут они. Нет, это был ребенок, и определенно это был мальчик. Мальчик будет более безопасным выбором. А еще он с нетерпением ждал возможности рассказать аккуратно причесанную историю.

Альфред Бузи вышел на улицу, покинув виллу не через двор, покрытый слизью кашеобразной еды и отходов, которые надлежало вымести, смыть из шланга, а через высокие двойные двери с их уникальным тяжелым ключом, как то и подобает человеку в костюме и с медалями. Было рано. Времени ему хватало, и он мог обойтись без такси или одного из экипажей с пони, которые все еще обслуживали туристов на набережной. Он решил пойти пешком. До Аллеи славы было недалеко, даже если идти обходным безопасным путем – по многолюдным бульварам и проездам, избегая трущоб и многоквартирных домов. Бузи двинулся в путь к городу, и солнце светило ему в спину, а он наступал на собственную тень, подгонял ее. Он выбрал представительную сторону улицы, поближе к магазинам и офисам, на которой уже начались ранние ежедневные труды. Он надеялся, что его узнают, остановят, будут расспрашивать: «Что это за бинты, мистер Ал? Что с вами сделали?»

Его и в самом деле вскоре поприветствовали. Он едва отошел десять шагов от своей двери. Коренастого сложения женщина в простецкой одежде лет двадцати с лишком, и он сразу же предположил, что это одна из «студенток», живущая в доме по другую сторону двора. Она обратилась к нему скорее с оживлением, чем с тревогой. Ах, как молодые любят неожиданные перемены.

– Она идет на снос, – сказала она и показала на виллу, в которой жила, а на Бузи почти и не посмотрела. Когда он подошел к ней, она взяла его под локоть с легкой, детской фамильярностью, но не назвала по имени и не пожала его руку, уж не говоря о том, что ни слова не сказала о его бинтах или травмах, как и не спросила, почему он весь в медалях и так строго одет. Ее явно куда больше волновало поскорее сообщить о своей новости, чем соблюсти формальные социальные условности. Но нет, он не стал указывать ей на невежливость, не стал демонстрировать свою неловкость, освобождая локоть.

– Что идет на снос? – спросил он, глядя на балкон без подпор и на всю деревянную конструкцию. С ремонтом и восстановлением виллы – обеих вилл – уже давно запоздали.

– Наш домохозяин согласился на продажу. Она идет на снос, – повторила она.

– Ваша вилла? – Неожиданный прилив пота хлынул ему под мышки. – Вся?

– «Кондитерский домик». Это сплошные пыль и мусор. Я бы сказала, сплошные кондитерские крошки. Все уже подписано, – заметила она. – И нас выселяют. Без крыши над головой. Эта новость явно не тревожила ее. В городе имелось немало крыш.

– И когда это произойдет? Вам уже сказали? – Теперь он сдерживал дыхание и весь покрылся липким холодным потом, как сыр моцарелла.

– Я думаю, скоро. Нет, я не знаю. Они с нами не хотят говорить. До того как к делу приступят кувалды и динамитчик, я надеюсь. Как вы думаете, нам выплатят компенсацию? – Она снова взяла его под локоть, словно они были старые друзья, и наградила печальной шаловливой улыбкой. – Нет платы – наши палаты; нет платы – надеваем латы.

Он видел, что она подыскивает другой девиз или новые рифмы. Он зарабатывал на жизнь, находя рифмы.

Наконец она отпустила его локоть и изобразила грядущее разрушение, надув щеки и воспроизведя звук взрыва, при этом энергично раскинула руки. Солнце, которое спряталось за узкий шарф облака, появилось в тот миг, когда она кончила говорить, и осветило фасады обеих вилл, словно девица своим представлением вызвала более яркую подсветку.

– А жаль, – сказала девица. – По виду приятные сооружения, правда? При свете? – И теперь наконец она повернулась и посмотрела на Бузи, может быть, даже почувствовала, что ее новость ранила его. – Черт меня побери! – сказала она наполовину себе и добавила: – Что вы с собой сделали?

У Бузи уже не осталось достаточно мужества и энергии для ответа. Он мог только стоять у плеча своей соседки, глядя на два здания, на лесок и перспективу крутого, голубого дня, и желать снова вздохнуть полной грудью, почувствовать нормальную температуру и исчезнуть в направлении Аллеи славы. За их спинами волновалось море, утаскивая на глубину гальку, подтачивая высокий и могучий берег.

3

Суббота предстояла нелегкая. Она могла начаться и кончиться болью. Бузи набросал список дел и встреч на день. Он мог все их вычеркнуть, кроме одного – последнего. Он согласился ранним вечером после торжественной церемонии открытия его бюста дать концерт в шатре в городском саду ратуши за Аллеей славы, где его бюст уже белел голубиным пометом – этими пятнистыми бинтами и повязками природы; теперь бюст в большей степени стал походить на оригинал. Это будет ответственное событие, с билетами, и высокопарное, для важных людей и городских чиновников, где не будет ни одного его поклонника. Простой народ тоже, конечно, допускался, но нам – да, я был в задних рядах этой толпы – пришлось стоять снаружи и слушать музыку вслепую, сидя на лужайках и стенах сада. Бузи надеялся, что мистер Ал сможет выступить, полностью освободившись от бинтов.

Но сначала он собирался купить экземпляр недельного журнала «Личности». Там должна была появиться еще одна его фотография и статья о нем побольше, посвященная его речи и открытию бюста. Перед церемонией он дал довольно пространное нервное интервью одному из их наиболее опытных и боевых журналистов – писателю, который скрывался за презабавным прозвищем, представьте себе, Субрике⁵ – и, согласно договоренности, воспользовался возможностью разъяснить ситуацию с его повреждениями: голый мальчик и никакой не кот, ногти – не когти. Он опасался, что повел себя с ним слишком открыто. Бузи всегда относился к людям так, как ему хотелось, чтобы относились к нему, впрочем, последнее случалось довольно редко. Будет интересно увидеть, во что превратит журнал историю с нападением, но больше всего Бузи жаждал увидеть несколько абзацев похвалы в свой адрес. Было чего ждать с нетерпением. Он после посещения газетного киоска собирался сходить в рыночные галереи, присмотреть какой-нибудь подарочек Терине. Он поднял ее среди ночи, чтобы она обработала его раны, и она на него не сетовала. Напротив, была спокойна и добра. Он подумал, что узорный темно-оранжевый шелковый шарфик будет ей очень к лицу. Он бы хотел увидеть, как она набросит его себе на плечи, завяжет на шее. Он был бы рад, подумал он, увидеть ее в шелке с головы до ног, когда они были молоды, а он – свободен.

На ленч Бузи сел за своим любимым столиком в углу маленького ресторана в саду городских ботанических пастбищ, расположившись поудобнее, чтобы почитать, выпить и, возможно, набросать названия песен вечернего репертуара на полях меню: одинокий клиент, сидящий спиной к декоративной перегородке. Но в некоторых отношениях сидеть там в одиночестве не равнялось сидению без общества. Это был любимый ресторан Алисии для ленчей. Есть в саду, на открытом воздухе – у их столика почти всегда подкармливались зяблики и воробьи, даже чайки и бабочки – это всегда ее вдохновляло. Да что говорить: здесь начинались их шуры-муры, здесь они признались – сознались – во взаимной любви.

– И какая же это любовь? – спросил он в тот первый раз, имея целью скрыть смесь смущения и радости.

– Длинная. Широкая. Глубокая, – осторожно и поддразнивая его, сказала она. (У него была такая песня, еще не законченная, хотя он уже испытал свое творение на Алисии.)

– Ах, это как Дунай? – Он помнил, что написал Мондаци: «От Черного до Черного Дунай любовь несет: от леса, где исток его, до моря, где исход⁶».

– Как сточная канава, – поправила она. – Глубокая, длинная и широкая. И полная...

⁵ Английское слово *soubriquet* (от французского *sobriquet*) означает «прозвище», «кличка».

⁶ Исток Дуная находится в альпийском лесу, который называется Черный лес, а впадает Дунай в Черное море.

Поэтому слова «как сточная канава» стали их тайной, дразнилкой-эвфемизмом для обозначения их любви.

Одни только мысли об этом нагоняли на него тоску, может быть, поэтому он так редко заходил в садовый ресторан. Обычно летом днем он ел в уличных киосках на набережной, неподалеку от его дома. Компанию ему составляло само солнце. Готовить для себя на вилле ему надоело. Одиночество делало еду безвкусной. В последнее время он слишком часто ел холодное и наспех, как животное, питался из пакета или контейнера, слишком мало было у него мотивов, чтобы поставить на плиту сковороду или накрыть на стол. И у него выработалась печальная привычка включать на ночь свет в кладовке, тот синеватый свет, который не давал тепла. Ему приходилось хватать и удерживать персидские колокольчики, чтобы они не звенели, когда он открывал дверь, потому что от их звука он чувствовал одиночество еще острее.

Но сначала, до галерей и кафе на пастбищах, Бузи пришлось без малейшего желания сходить в приемную доктора Бандела. Среди страхов и забот, среди смущения, которые не давали ему покоя со дня атаки в кладовке, и после новости, которую он узнал утром в среду, о том, что «Кондитерский домик» будет снесен, внешне игривое предупреждение Терины теперь казалось ему самым насущным. «Тебе нужны инъекции», – сказала она.

Бузи считал маловероятным, чтобы ребенок, настолько явно невинный, не наделенный человеческой злостью, жертва мира, а не переносчик инфекций, может быть носителем чего-то столь гнусного и опасного, как смертельная болезнь вроде столбняка или бешенства. Но когда он заглянул в «Домашнюю энциклопедию здоровья и поведения» Алисии, ему стало трудно игнорировать подозрение, что уже по прошествии всего нескольких дней после нападения у него появились почти все ранние симптомы бешенства: головная боль и бессонница, смятение и тревога, зуд в ранах и общее ощущение слабости. И даже состояние у него было какое-то лихорадочное; он вспомнил, как бешено прыгала его температура, когда он разговаривал с плохо одетой студенткой-соседкой, как его рубашка пропиталась потом, как его трясло, несмотря на майскую жару. И слюновыделение у него увеличилось. Это ведь очевидный симптом, да? Как и рвота. Его пока еще не рвало, но тошноту он ощущал чаще, чем это можно было бы считать нормой. То, что его грудь тревожно вздымалась при одной только мысли о питьевой воде, вероятно, было следствием параноидальных страхов, но это его не успокаивало, потому что паранойя тоже числилась среди симптомов. Бузи сначала обратил внимание на это последнее – волнение, которое вызвали у него текущий кран и водоворот в раковине, когда он чистил зубы этим утром. Ему пришлось вытащить щетку изо рта и дожидаться, когда пройдут рвотные позывы. «Водобоязнь, – предупреждала энциклопедия, – один из наиболее очевидных индикаторов начала действия лиссавирусов, за которым следуют конвульсии и паралич».

Бузи знал, что ему нужно было начать действовать раньше. Прошло три дня после нападения, и наилучшим ему советом было бы как можно скорее обратиться к доктору и пройти неприятный курс лечения, который все же лучше, чем риск «умереть одной из самых жестоких смертей, какие существуют в природе»: респираторы и смирительные рубахи, а потом безумные, с пеной изо рта, часы агонии. После того как вирус начал проявляться физически, сделать уже ничего невозможно, разве что приготовить гроб и клочок земли и прослуживать прощальные слова.

Но наш мистер Ал боялся уколов не меньше, чем болезни, и тому были причины. Его отца пятьдесят лет назад укусила летучая мышь – крылан. Она застряла среди швабр и велосипедов в том же дворе, где стояли мусорные бачки и куда даже тогда из леса приходили животные, чтобы умять объедки и напиться из водостока. Она махала крыльями и изгибалась, как самая черная из выброшенных на берег рыб, отчаянно пытаясь спастись, но ее странным образом гибкие крылья, на ощупь как сухие, так и маслянистые, были слишком широкими и плоскими, чтобы обеспечить ей подъем и полет без посторонней помощи. И вот отец спас ее и заплатил за это: два аккуратных прокола на кончике пальца, из которых и вытекла всего-то капелька крови.

Бузи играл на рояле – рояль тогда находился наверху, – когда пришла медсестра, чтобы сделать инъекцию антисыворотки. Он мог видеть через коридор и через чуть приоткрытую дверь родительской гардеробной, как отец задрал на себе рубашку и, необычно послушный, встал лицом к медсестре, положив руки ей на плечи. Это показалось Бузи не вполне подходящим. Ему было неловко смотреть. Папа громко что-то напевал себе под нос – и вовсе не ту мелодию, которую наигрывал его юный сын, – а сестра приготовилась ввести ему через брюшную стенку вакцину, полученную из кроличьей сыворотки (заячьей юшки, как ее называли). Ее орудие, высвеченное ярким лучом хирургической лампы, казалось похожим не на что-то медицинское, а на металлическое приспособление, с помощью которого мама выдавливала кремовые украшения на торты. Бузи достаточно отчетливо видел иглу, чтобы понимать, что она слишком толстая, чтобы быть эффективно острой.

Отцовская боль была нескрываемой и громкой, хотя Бузи приложил немало сил, чтобы сдержаться и не прореагировать на потрясенное «ох!» своего отца и последовавшую за этим гримасу стойкости. Ему удалось не пропустить ни одной ноты и не сбиться. То, что он увидел, было делом слишком интимным – такие высокие страсти на лице отца, такие темные непостижимые муки. Музыка – бойкая аранжировка «Карнавального каприза» Дэлл’Овы – должна была казаться сыгранной без ошибок. Родитель не должен был поймать сына на подглядывании.

Царапинка на кончике пальца отца едва ли заслуживала бинтов и зажила через час, а вот синяки на его животе были иссиня-фиолетовыми почти неделю, потом стали сочиться, на них образовалась корочка, после чего они покоричневели и пожелтели. Папа снова поднял рубашку после ужина на второй день, так что его сын в более полной мере мог проникнуться сочувствием к его страданиям. «В следующий раз летучей мыши придется выбираться самой, – сказал отец. – А вообще-то я предпочту умереть, чем еще раз позволю накачивать себя этой дрянью».

Поэтому Бузи подошел к приемной доктора с опаской и с еще одним симптомом заражения – у него тряслись руки. Он пришел раньше назначенного и ждал на набережной, где наш город более всего был открыт морю и – имейте в виду – часто омывался и освежался солеными брызгами. Влюбленные парочки приходили туда помокнуть. Бузи и сам не возражал бы, если бы на него плеснуло волной, поскольку это было бы хорошим предлогом развернуться и отправиться домой. Но море не откликнулось на его желание. Он ушел от него в тепле и сухости. Сел на чугунную скамейку с другими мужчинами его лет, принялся черпать мужества у солнца в преддверии предстоявшего ему испытания, попытался успокоить нервы, наблюдая за детьми и их родителями, выстроившимися в очередь близ базилики, чтобы полетать на монгольфьере. Хоть раз увидеть наш океан и наш город, как их видят летучие мыши и скворцы, мелкими и разграфленными, как на карте. Может, и ему встать в очередь, подумал он, бежать от иглы через облака.

Более двадцати пяти лет назад Бузи отважился на это путешествие в таком же монгольфьере. Он узнал крашенных купидончиков на плетеной корзине и изображения облаков на парусине оболочки, сейчас наполнявшейся и разбухавшей разогретыми пропановыми парами. Прогулка – или «пролетка», как назвал это пилот – была подарком на день рождения его племяннику, Джозефу, но мальчику тогда было всего восемь или около того, слишком мало, чтобы получить удовольствие. Он сказал, что от запаха и раскачивания его тошнит, и он пугался, когда горелки производили астматический драконовский звук. Но Бузи получил удовольствие от полета. Наконец-то он смог воочию увидеть, почему Виктор Гюго назвал наш городок «городом с четырьмя легкими». Мы должны предположить, что Гюго тоже побывал наверху и собственными глазами видел расцвеченное стеганое одеяло. Наши четыре выживших лоскута зелени расположились, как драгоценные камушки гагата или мерцающие изумруды среди лоскутов черепичных крыш и покрытия проездов.

Ближе всего к северу от старых коммерческих кварталов расположились ботанические пастбища, где на землях, пораженных в Средние века чумой и считавшихся слишком загрязненными для проживания, была ровными рядами высажена предположительно тысяча разных видов деревьев (хотя полевой путеводитель называл только шесть сотен). Дальше располагался сад в регулярном стиле близ ратуши с его розовыми кустами по краям и его Аллеей славы; дальше располагался сад Попрошаек, куда даже в те времена никто не заходил, кроме бедняков, – на этих крутых и узких улочках с их многочисленными ступеньками никогда не появлялись приличные автомобили; и наконец, на востоке черное и колючее легкое леска, легкое курильщика, липкое, бронхиальное, слишком густое, чтобы считаться садом или парком. Это были кустарниковые заросли, куда по ночам, чтобы сразиться с колючками, направлялись кошки и демоны.

Судя по всему, день обещал быть неплохим, на небе ни облачка, а ветерок достаточный для неторопливого полета. Молодые пассажиры монгольфьера будут рады. Они увидят горизонты, о существовании которых и не подозревали. Бузи вспомнил, что погода не была так расположена к нему и Джозефу. Тогда не было ни ветерка, чтобы монгольфьер отлетел подальше от места старта или чтобы рассеять утреннее раздражение. Они горизонтов не видели. Они даже не видели сквозь дымку большие, бесконечные легкие загородных земель – виноградники, сады и семейные фермы, оливковые плантации, заросли лаванды, миртовые рощи, поляны и древние деревья парка Скудности. Этот пейзаж был накрыт дымкой. Что, впрочем, не вызывало особого сожаления. Тогда Бузи казалось, что наш город с его квартетом зеленых и открытых пространств и какофонией крыш – это все, что в тот день может представлять интерес, и все, что следует увидеть. Любить это место было легко. Остальное было только туманом.

Короткое чувство удовлетворенности было разрушено звоном колоколов базилики, отбившим очередной час. Его ждали во врачебном кабинете. Он поднялся с более жесткой спиной, чем обычно, кивнул на прощание своим сосидельцам по скамейке, а уходя, не мог удержаться и помахал детям в очереди. Он желал им всем спокойного и приятного полета без всякой тошноты. Вероятно, они с недоумением смотрели на бинты старика. Один из отцов помахал ему своим журналом, и Бузи почувствовал глубокое удовлетворение – простой жест. Жест признания. Ему помахали журналом «Личности».

Случилось так, что экземпляр «Личностей» – в знак признания его частых шокирующих откровений переименованный преданными читателями в «Неприличности» – оказался и в приемной доктора. Бузи пребывал в страхе и приветствовал бы отвлечение в виде возможности познакомиться раньше, чем он рассчитывал, с тем, что написал о нем Субрике, – но единственный другой клиент – женщина – уже положила журнал себе на колени и листала его, вытягивая шею с расстояния, подходящего для человека, которому пора приобрести очки. Она вежливо улыбнулась, когда Бузи, кивнув, занял стул напротив, но явно не узнала певца и даже не удивилась все еще остававшимся на его шее и лице бинтам и повязкам, хотя уже неряшливым и ослабленным. Покалеченный человек не был редкостью в приемной доктора, даже такой, которого, казалось, пробирала дрожь. Она поднесла платок ко рту – вдруг второй посетитель являлся носителем инфекции или заразы, что было весьма вероятно, судя по его виду, и сосредоточилась на журнале.

Бузи вытащил ископаемый талисман на удачу, идеальную грифею⁷, которую нашел в парке Скудности, когда был мальчишкой, и потер ее поверхность большим пальцем. Обычно такие не имевшие никакой цены штуки называли «чертов коготь», но для певца она за пятьдесят лет превратилась в талисман, без которого он не мог петь, не решился бы произнести речь, он даже не набрался бы мужества вынести пронзительный способ доставления в орга-

⁷ Грифея – род двустворчатых моллюсков.

низм средства от бешенства. Женщина в приемной – Бузи решил, что у нее проблемы с мочеиспусканием – на мгновение оторвала глаза от журнала, поерзала на своем неудобном стуле, устраиваясь поудобнее, и плотнее прижала платок к губам. Он смотрел, как она переворачивает, разглаживает страницы, просматривает содержание, фоторепортаж в черно-белых фотографиях, снятых на борту лайнера (для экипажа), статью о птицах, содержащихся в клетках, еще одно обещание ледящего кровь прихода замороженной пищи и пива в металлических банках, рассказ о шеф-поваре (обвиненном в адюльтере обеих разновидностей), страничку главного редактора и карикатуры, а потом наконец на развороте в середине знакомую официальную фотографию Бузи и его бюста. Там была – вызывающая тревогу – и иллюстрация неандертальцев, голых перед мерцающим костром, обгладывающих кости; мужчин, женщин и ребенка. Бузи попытался сверху вниз прочесть некоторые заголовки и подзаголовки, набранные более жирным, темным шрифтом. Он не предполагал, что там будут неандертальцы – какое они имеют отношение к нему, Певцу Счастья? – но и удивило его это тоже не слишком. Наш городок всегда полнился слухами, обычные обывательские мифы, недоказуемые и неопровергаемые, пришедшие из далекого прошлого. «Берегись призраков, неандертальцев... и собак», – предупреждали его, когда он был молод, словно эта троица имела какое-то отношение к реальности и представляла собой некую опасность. Всегда так. И безбедные предместья, и глухие районы обречены мечтать о жизнях более чувственных и страстных, менее сонливых, чем их собственные, тех жизнях с кострами и костями, которыми жили первобытные люди. Бузи должен был бы догадаться, что его ребенок будет низведен до «неандертальца», слова, которым тогда не только называли легендарных дикарей, наших предшественников, но еще и пользовались в других целях: как удобным оскорбительным именованием любых грубых простюдинов, живущих в нашем городе. Многим нашим жителям, которые никогда не отваживались далеко выходить за границы своих районов, любая дикая жизнь представлялась угрозой. Пещерные пауки, пещерные люди, троглодиты, вульгарные бедняки? Никакой разницы. Возможно, Бузи сам навлек на себя эту издевку. Дурак он был, что сказал Субрике, будто его обидчик был «невинный и дикий». Для любого захудалого журналиста в нашем городке это было бы эвфемизмом, за которым могло стоять только одно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.